

А. С. Постников\*

## ИСТОРИЯ КАК ГРЯДУЩЕЕ, ИЛИ В ПОИСКАХ МЕТОДОЛОГИИ Опыт рефлексии (отчасти в исторической тональности)

«... и при слове “грядущее” из русского языка  
выбегают мыши и всей оравой  
отгрызают от лакомого куска  
памяти, что твой сыр дырявой»

*И. Бродский*

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН со свойственной ему англосаксонской холодной образностью заметил на исходе XX века, что нынче «нет оснований ни для оптимизма, ни для пессимизма. Все остается в пределах возможного, но все остается неопределенным. Мы должны переосмыслить наши старые стратегии, мы должны переосмыслить наш старый анализ»<sup>1</sup>.

Историк, конечно, тут же уцепится за последнее: «Что значит переосмыслить “наш старый анализ”? Историкам вообще (что, кстати, вряд ли может считаться существенным недостатком) свойственно с большим или меньшим скептицизмом взирать на бесконечные усилия «жрецов» иных социальных отраслей знания вторгаться в заветную профессиональную обитель «фактов, еще раз фактов и еще много раз фактов».

Сей понятный профессиональный стереотип иногда оказывает не лучшую услугу. «Иногда» – например, тогда, когда «никто никогда ничего не знает наверняка», то есть в эпоху системных сдвигов.

Вряд ли кто-нибудь будет отрицать наличие подобных сдвигов в мировой и российской действительности последних десятилетий. Между тем методология истории в отечественной постсоветской традиции незаметно превратилась в аналог поведенческого стереотипа неофита столичного метро: главное не пропустить нужную станцию, вернее – даже не саму станцию, а кольцевую линию. «Окольцевание мысли» посредством перевода на русский язык с помощью «мичуринских прививок» разнообразных концепций и подходов, возникших на Западе, дало, как известно, поначалу «бурные всходы».

Но, увы. По меткому замечанию А. Богатурова, приспособление «иногое» к «киному не дано» почти не сопровождалось приращением собственного теоретического знания. И значит, «...назрел поворот к изучению реальности во всех её противоречиях и созданию собственной теории, которая перестала бы видеть в местных особенностях, не вменяемых в западные схемы, отклонения и патологию»<sup>2</sup>.

Написано, между прочим, в 2000 г. Но стоит внимательнее приглядеться к «методологическим изысканиям», изредка еще встречающимся в текущей исто-

---

\* Постников Александр Степанович, кандидат исторических наук (Москва).

<sup>1</sup> Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. С. 232–233.

<sup>2</sup> Богатуров А. Десять лет парадигмы освоения // Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 1. С. 195–201.

рической периодике, чтобы согласиться: «Ах, чем меньше поверхность, / тем надежда скромней / на безупречную верность / по отношению к ней».

Историческое познание в нашей стране многие годы «до и после» страдало обилием очевидных достоинств и не менее очевидных слабостей. На первое место среди последних я бы, безусловно, поставил такую банальность как «методология».

Дело даже не в марксизме, на «дурное наследство» которого не так давно можно было (другой вопрос – насколько обоснованно) ссылаться. Тем более, что по количеству своих далеко не нежизнеспособных разновидностей марксизм *sui generis* способен все еще потягаться не только с либерализмом, но и со многими другими «побегами» от «древа Просвещения».

Дело в том, что метод – это не перечень текстов, это пространство «освобождения от текстов». Один парадоксальный методолог уже заметил по этому поводу: «Единственным принципом, не препятствующим прогрессу, является принцип *допустимо все (anything goes)*»<sup>3</sup>.

Движение аналитической мысли в России на протяжении почти двадцати лет переосмысления истории как науки позволяет увидеть, как трудно даётся «освобождение от текстов».

Не так уж важно что это за тексты. По большому счету, между Р. Пайпсом и М. Покровским дистанция явно не стайерская (соединение этих имен случайно, но не случайно отсутствие между ними знакового барьера).

Каждый новый этап движения социума по бесконечной (будем надеяться – бесконечной?) линии развития заставляет историков использовать «новые окуляры», чтобы разглядеть в прошлом нечто ранее не увиденное. Но чтобы эти «окуляры» не обманули, желательно иметь, как минимум, глаза.

Методология – это не окуляры (как часто кажется), это – глаза.

Глаза историка – это способность видеть то, что лежит «за фактами». Уже не первое столетие *profession de foi* историка сражается со стремлением живущего в нем обыденного сознания видеть только то, что дано *de facto*.

Я не случайно процитировал И. Валлерстайна. Едва ли не каждый день, прожитый миром в наступившем XXI веке, служит свидетельством необходимости для историка увидеть в том, что ранее казалось лишь патиной, даже не саму поверхность, а её «метафизику».

«Наш старый анализ» (если говорить о российской историографии) – это не марксизм и не либерализм (хотя, по большому счету, оба они – возросли с одного просвещенческого корня). И тем более – не славянофильско-западнические симулякры, до сих пор назойливо воспроизводимые в отечественных, к сожалению, не только «философических», текстах.

«Наш старый анализ» – это упорное нежелание «быть внутри движения». Методологическая революция, когда-то совершенная «Анналами», только на поверхности была попыткой погрузиться в «повседневность», чтобы освободиться от «институционального гнета». На самом деле она означала нечто подобное тому, что в антропологии было совершено (почти, кстати, в то же время) с помощью структурализма: разделение текста и субъекта: «... в языке тот, кто говорит, и то, что он говорит, суть всегда разные вещи. Мы оказываемся перед лицом двойной оппозиции: *личность и символ; ценность и знак*»<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Фейерабенд П. Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 142.

<sup>4</sup> Левин-Строс К. Структурная антропология. М., 1983. С. 265.

Движение истории немислимо вне институтов: экономических, социальных, идеологических и проч. Именно поэтому едва ли не все методологии, легшие в основание исторических изысканий XVIII–XX вв., строились на приоритете институтов над поведением индивидов. Но, как не без иронии заметил Д. Норт, «социальные науки постоянно испытывают внутренний конфликт из-за того, что разрабатываемые нами теории не соответствуют реальным процессам человеческого взаимодействия, наблюдаемого в окружающей жизни»<sup>5</sup>.

На мой взгляд, именно в обнаружении в исторической реальности социального взаимодействия как акта непосредственной интеракции между «овеществленными ценностями духа» скрывается глубинный смысл и одновременно глубинный потенциал «революции Анналов».

Сошлюсь в этой связи на одно из многих замечаний подобного рода Ж. Ле Гоффа: ««Обновленная методология истории складывается как целостность не на пустом месте. Она возникает во взаимосвязи с новой политической историей и новой историей власти, каковые охватывают историю символов и мира воображения ... Понятие ценностной ориентации отличается рядом черт. Оно позволяет учитывать при изучении истории *динамику*, изменение; оно охватывает феномен человеческих *желаний* и устремлений...»<sup>6</sup>.

Грядущее рождается как желание будущего. Желание, даже когда оно кажется обращенным назад, есть ожидание, предчувствие завтрашнего дня.

За внешним обилием текстов, обращающихся к нашему недавнему прошлому, то и дело проглядывает отсутствие методологии, основанной на понимании того, что в основе всех действительных и мнимых зигзагов истории лежали не институты, а ценности, не правила, а желания.

Это особенно важно, когда мы обращаемся к истории как ключу, пусть не открывающему настужь, но хотя бы приоткрывающему дверь в «сегодня как предчувствие завтра».

Западная социальная наука все чаще акцентирует внимание на том, что современность утрачивает свои жесткие институциональные ограничения. Так, З. Бауман, интерпретируя утрату в окружающем мире жесткости в пользу текучести, пишет: «В наши дни паттерны и конфигурации больше не заданы и тем более не самоочевидны; их слишком много, они сталкиваются друг с другом, и их предписания противоречат друг другу, так что все они в значительной мере лишены своей принуждающей, ограничивающей силы ... Вместо того, чтобы служить предпосылкой стиля поведения и задавать рамки для определения жизненного курса, они следуют ему (следуют из него), формируются и изменяются под воздействием его изгибов и поворотов»<sup>7</sup>.

Российское общество на протяжении практически всей своей истории находилось под «институциональным гнетом». О причинах последнего сказано немало, как со знаком «+», так и со знаком «-». Признавая большую убедительность интерпретационной траектории, протянувшейся от С. М. Соловьева до Л. В. Милова, нельзя, как мне кажется, настаивать на вневременной неизменности исходного материала.

Не случайно Э. С. Кульпин, последовательно отстаивающий социоестественную интерпретацию российской истории (принципиально не противореча-

<sup>5</sup> Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 27.

<sup>6</sup> Ле Гоффа Ж. С небес на землю (перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII–XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. 1991. М., 1991. С. 26.

<sup>7</sup> Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. С. 14.

щую вышеуказанной причинно-следственной траектории), делает одну существенную оговорку в своем окончательном «генетическом приговоре»: «Если бы не XX век с его революциями, гражданской войной, созданием и развалом СССР, поиском иных форм существования, *можно было бы* (курсив в обоих случаях мой. – А. П.) сделать вывод, что специфика большого государства в российском вмещающем ландшафте заключается в необходимости руководства из одного центра, концентрации в этом центре всех сил и ценностей, унитарности, унификации, ограничения гражданских свобод, как условия выживания специфической российской общественной системы»<sup>8</sup>.

Так и хочется добавить: «Если бы не XXI век...» Точнее, тот мир, который стал явственно вырисовываться в последние два десятилетия предыдущего века, мир, получивший уже не одно определение, начиная со ставшего классическим, белловского, определения, – «постиндустриальное общество». Более того, мир, обретающий вторую, не менее «инновационную» – глобальную – реальность.

Наблюдаемая сейчас в нашей стране «институциональная страсть», охватившая не только собственно власть (что понятно и естественно), но и общество в его основных социальных потенциях, историку кажется очевидным воспроизводством традиции, своего рода очередным возвращением «времени в пространство».

Вопрос только в том, что наступающее со всех сторон «грядущее» не имеет привычного «граничного» пространства.

В спорной, но созидательно-провокативной трактовке состояния современного Запада, данной С. И. Каспэ, «нынешняя империя Запада достигла завершённой универсальности, пронизав своими сетями, охватив инфраструктурой, включив в политические (только ли политические? – А. П.) взаимодействия весь обитаемый мир»<sup>9</sup>.

Ключевым здесь является слово «сеть». «Грядущее есть сеть», так можно было бы определить *mainstream* той части мировой (и отчасти – отечественной) социальной мысли, которая пытается «осознавать движение», а не его цель, «быть внутри» процесса, а не стараться оценивать его с позиций внешнего должностования.

«Методология сети», по всей видимости, и может стать той методологией, которая позволит осознать «грядущее» как историю настоящего. С позволительной на данном этапе условностью я бы обозначил эту методологию как *методологию социальных сетей, создаваемых ценностно-ориентированными интеракциями*.

В социальной интеракции, отражающей ценностные ориентации взаимодействующих субъектов, происходит переход их взаимного «грядущего» в «настоящее», «желаемого» в «действительное». В этом смысле непосредственно в момент интеракции оба (или более) субъекта превращаются в «ячейку» бесконечной сети, соединяющей социум в нечто целостное.

Тропинка, когда-то обнаруженная М. Блоком и его коллегами, давно превратилась в широкую дорогу, но, как всякая дорога, обладающую множеством ответвлений.

Исследование истории как сети социальных интеракций, в ходе которых «желание» субъекта «овеществляет» его ценности в предмет, имеющий, среди

---

<sup>8</sup> *Кульпин Э. С.* Золотая Орда: Проблемы генезиса Российского государства. 3-е изд. М., 2007. С. 163.

<sup>9</sup> *Каспэ С. И.* Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. М., 2007. С. 285.

прочего, и институциональное воплощение, пока можно отнести к одному из таких ответвлений. К сожалению, по этой дороге идти быстро или хотя бы не спотыкаясь, мешает как раз отсутствие ее «методологической разметки».

Проще всего в этой ситуации в очередной раз оглянуться назад и вернуться на магистраль. Вернее: на то, что принято считать таковой магистралью. Не только в российской историографии, но и в западных историографических течениях (особенно имеющих «советологический анамнез») подобное «возвращение на круги своя» имеет теперь достаточно навязчивый характер. Для обнаружения этого не слишком радостного факта достаточно пролистать подряд десяток-другой вполне академических изданий.

Констатация данного факта ни в коей мере не отрицает качественного перелома, произошедшего в российской историографии с начала 1990-х гг. Проблема, на мой взгляд, в другом. Достигнутый ныне уровень есть в основном продукт отложенной самореализации «советской» (в возрастном скорее, чем в рефлексивном смысле) профессиональной исторической генерации.

Самореализация собственно российской генерации историков-профессионалов пока еще только тенденция, но никак не тренд, определяющий перспективу. Рождение методологий, адекватных этому поколению, неизбежный, но далеко не предопределенный результат логики развития исторической науки.

Если воспользоваться известным термином, введенным в научный обиход Т. Куном, речь идет о созидании новой историографической парадигмы, способной соединить традицию и новизну. Возможно, что эту роль сыграет «сетевая парадигма», возможно – другая. Очевидно лишь одно: «То, что мы должны отыскать – скорее правильное сочетание трезвости и фантазии»<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Валлерстайн И. Указ. соч. С. 167.